

## НАШИ ЮБИЛЯРЫ

---

ЛЕОНИДУ МИХАЙЛОВИЧУ БАТКИНУ –  
75 ЛЕТ

ИНТЕРВЬЮ РЕДКОЛЛЕГИИ «ОДИССЕЯ»  
С ЮБИЛЯРОМ

*Дорогой Леонид Михайлович! Мы сердечно поздравляем Вас, замечательного специалиста по итальянскому Возрождению, известного публициста и общественного деятеля, с юбилеем и хотели бы в связи с этим задать Вам несколько вопросов.*

*Простите, мы попытаемся начать с самого существенного и, может быть, щекотливого. Дата достаточно внушительная, чтобы Вы могли подвести итоги своего профессионального пути, пусть, как мы надеемся, предварительные. Как Вы сами расцениваете достигнутые результаты? Были ли Вы счастливы и удачливы в своей профессии?*

Это отнюдь не щекотливый и в личном плане действительно решающий и деловой вопрос. Притом речь идет – благодарю за добрые пожелания, содержащиеся в оговорке, – совсем не о предварительных, но об окончательных итогах. Может быть, мне удастся еще немного поработать и что-то сочинить, но, как и, очевидно, у каждого, кто добрался до подобной даты, дело жизни сделано.

Ответ мой будет сбивчивым, ибо он складывается из плюсов и минусов. Начнем с того, что в собственном историческом гуманитарном цехе я остался, по справедливому суждению А.Х. Горфункеля, одиноким маргиналом. Учеников у меня нет.

Хватает и других проторей и биографических неудач. После окончания скверного харьковского университетского истфака, оставившего меня самоучкой, я год сидел без работы. Потом десятилетие с молодым подъемом читал эстетику в Харьковском институте искусств. То было славное время и полезный интеллектуальный опыт. Но я почти не писал. Затем вновь год без работы. Мне редкостно повезло, меня изгнали из родного города, и я почти чудом попал в Москву. Без этого Вам не о чем было бы спрашивать.

Плюс же состоит в том, что, благодаря этому, мне удалось прожить не впустую. В известной мере самоосуществиться. И, прежде всего, предложить собственную концепцию итальянского Возрожде-

ния, принципиально новый способ его изучения и потребные для этого новые концептуальные корневые понятия. Если, конечно, согласиться с обстоятельной статьей проф. Горфункеля на сей счет в сборнике, вышедшем к моему семидесятилетию, – «Человек–Культура–История». М., 2002. С. 11–56. Должен сознаться, что я крайне дорожу этим глубоко взвешенным и блестящим анализом. Не просто потому, что он благоприятен для меня, а в силу его собственной прямоты, новизны и объективности.

Есть и еще кое-что. Я особенно горд книгами «Европейский человек наедине с собой» (2000), «Пристрастия» (2002) и... почти неизвестной публике, не замеченной в критике, очень личной и взволнованной работой о поэтике Иосифа Бродского (1997). Впрочем, и остальное мало и плохо прочитано.

Переезд в Москву означал радикальное методологическое обновление. Позже работал я усердно, но, увы, запойными рывками. В Институте всеобщей истории было невыносимо душно. Зато там же трудились несколько повлиявших на меня коллег и друзей. Много времени и сил растрачено на всякие посторонние науке обстоятельства. Так что сделано втрое меньше, чем хотелось бы. В лучшем случае осталось в набросках, выписках или просто в голове. «Inachevé», по терминологии Кузьмы Пруткова... Судите сами, были ли я «счастлив и удачлив». Наверно. Уверенно могу сказать только, что я был. Это уже немало.

*О ненаписанном... Позвольте полюбопытствовать, что же именно?*

Ради бога. Где монография Баткина об «Исповеди» Руссо? Где статьи о феномене русской интеллигенции? (Тут я союзник М.Л. Гаспарова). И о дневниках и романах Пришвина? Где работа о позднем Мандельштаме? (Тут я оппонент Михаила Леоновича). Где работы о ренессансной магии, музыке и гуманистической идеологии? Где работы... о трагическом русском феномене Ленина?

*В связи с неожиданным последним упоминанием: какую роль в Вашей судьбе сыграла политика?*

Поначалу пассивную и достаточно трудную, хотя такую же, как у моего поколения в целом. Ничего чрезвычайного. Ни арестов, ни обысков. Всего только «внесудебные преследования», дважды безработица по году, непечатание, сочинение «в стол», положение «невыездного», запрет до 90-х годов на докторскую защиту, допросы на Лубянке – обычные дела, как и у многих.

С 1988 до 1992 года с головой, затем от случая к случаю, по нисходящей, я окунулся в активное политическое участие. Это требует специального рассказа – сборник «Иного не дано», сотрудничество с Ю.Н. Афанасьевым, сближение с Андреем Дмитриевичем Сахаро-

вым, придумывание и руководство «Московской трибуной», косвенная причастность к «межрегиональной группе», впечатления августа 1991 года, связь с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода», вхождение в руководство «ДемРоссии» и разрыв с ним, сложные отношения с Г.А. Явлинским и выступления на съездах «Яблока», активная публицистика – кое-что вошло в три книги (одна вышла в Нью-Йорке). Масса уникальных впечатлений. Обо всем этом нужны воспоминания – тоже не написанные, ибо «Историк о себе», если Вы нашли время прочесть, – совсем о другом. Я не сожалею о «потерянных» для науки годах, они органическая часть меня и моей дороги.

*Чем Вы заняты сейчас?*

Подготовкой к печати книжки о Пьетро Аретино. Это странный и непривычный для меня персонаж, писатель, который завершает Возрождение, выхолащивая его и разлагая ренессансную поэтику. Как-то само собой получилось, что начинал я с Предвозрождения, с Данте, затем последовали гуманисты, затем необходимое отступление вспять к началу начал, к Петрарке, и дальше к Абеляру и Элоизе, наконец, к Августину. Но сперва были Фичино, Пико делла Мирандола, особенно Леонардо да Винчи и Макьявелли, также Кастильоне и Фиренцуола. Ранний маньеризм. И вот занавес падает... Аретино. Занавес над пожизненным циклом работ о сущности Возрождения. Так что вышло хронологически и исторически логично и последовательно.

*Мы сознаем, что ответ на следующий и последний вопрос выходит за рамки любого интервью, но рискнем спросить: не могли бы Вы сравнительно кратко разъяснить свое методологическое кредо?*

Сравнительно кратко – да, но все же поневоле придется, коли Вам угодно, высказать нечто пространное и притом, разумеется, неполное (из того, что отчетливей значится в «Пристрастиях» и «Введении» к «Европейскому человеку...»).

Соблазняемый Вами, я впрямь выйду за обычные рамки интервью и дам, если позволите, небольшое эссе на эту тему.

Мои исходные методологические максимы восходят к М.М. Бахтину. Глубоко разработанные им, они вняты для тех, кто всерьез думал над его трудами. Я пробовал истолковать и применить их по-своему.

Итак. Любое произведение не равно себе. Прежде всего потому, что в нем много разнородных исходных элементов, подчас почти несовместимых, однако сходящихся – более или менее уникально («казусно») – в многослойной структуре. Главное же: произведение есть инициатива производящего мышления (а не сознания). Прежде всего в тех случаях, когда индивид видит себя в непривычном положении и силится пробиться к некоему пороговому смыслу.

**История есть перестроение, изменение, обновление системных конфигураций.**

Так, в истории культуры, т.е. в истории смысловых миров (парадигм), понимание каждого из них упирается, при сколь угодно очевидных сходствах и инерционных повторах, в его отличие от всех прочих смыслов. В его особенное.

Для объяснения объектных (вещных) структур и тем более для понимания другого субъекта важнее всего пафос особенного.

Культурно-особенное соотносимо не с обезличенным «общим», выносимым за скобки из многообразных своеобразий. Оно есть не что иное как непосредственность всеобщего смысла в тех или иных пределах, вплоть до эпохальной парадигмы.

Культурно-всеобщее осуществляется лишь в качестве ЭТОГО. Иначе говоря, это всеобщее, с которым в каждом случае совпадает особенное. Будучи всеобщим, всякий особенный субъектный смысл продолжается в бесконечности своих метаморфоз, развертывается в нескончаемых «диалогах», во встречах толкованиях. Придерживаясь различия между объектным общим и субъектным всеобщим, я опираюсь, помимо Бахтина, на логико-культурную философию В.С. Библера.

Будучи фокусом, собирающим и преломляющим разнонаправленные лучи историко-культурной ситуации, произведение ее уже тем самым несколько сдвигает. Впрочем, автор сознает содеянное им лишь отчасти и обычно заходит много дальше, чем предполагает. И даже дальше, чем способны разглядеть ближайшие последующие поколения в рамках того же типа культуры.

Ибо смысловое усилие обладает мощной избыточностью, необходимой для достижения какой бы то ни было творческой цели. Отсюда мерцающий, переменчивый, навсегда остающийся неготовым субъектный смысл.

Напротив, если бы мы трактовали некое высказывание как «текст» (а не произведение), т.е. беря его наподобие вещного объекта, то из него полагалось бы вытянуть единственно верное «значение». То, что хотели бы верифицировать жестко, формализованно, т.е. на естественнонаучный, а не «всего лишь» общенаучный, сиречь научно-гуманитарный лад, — должно быть, конечно, избавлено от расплывчатого, вечно спорного, досадного избытка.

Зато в субъектном (культурно-смысловом) плане избыток принципиально неизбежен и плодотворен. Неисчерпаемы его вневходимые и непредвиденные отклики в накапливающихся по ходу истории контекстах.

Толковать произведение значит добиваться логической доводки того, что в нем высказано, хотя и не выказано; содержится скорее

интуитивно, чем в последовательном намерении; скорее в намерении, чем в полном итоге; и скорее в исторической ретроспективе, чем актуально.

На всем этом я и стою, не могу иначе. Правомерность иных подходов притом не только «вежливо» признаю, но всерьез ценю и заинтересован в их правомерности. Лишь на границе с жестко-объектным исследованием возникает возможность гуманитарности. Тогда-то внутри традиции происходит сдвиг. МАТРИЦА И ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА. Прежние матричные элементы высказывания (поведения), взятые по отдельности, формально остаются как будто теми же. Тем паче, если они преднайдены индивидом на традиционалистской основе. Но их синтагматика уже иная. В итоге смещаются смысловые функции внешне одинаковых культурных компонентов. Об этом блестяще писал Тынянов.

Системно-функциональные исторические перемены делают необоснованными довольно частые старания исследователей, исходя из «ментальной» преемственности, из инерционности сознания, из действительного или мнимого сходства отдельных элементов в прежних и новых культурных текстах и кодах, сблизить всё и вся.

Установить сближения и сходства почти всегда нетрудно. Однако пафос истории как повтора, продолжения, сохранения неподвижной сути при внешних модификациях, – это, по моему убеждению, в итоге подход не историчный.

Для историка сей соблазн тем более опасен, что в нем есть немалая доля истины, сбивающая с толку. Марк Блок в «Ремесле историка» иронизировал по поводу «эмбриогенического наваждения», когда определенная черта объясняется не ее ролью и местом в **современной** системе общественных отношений, а тем, каково ее происхождение.

Между тем, все дело в том, как срабатывает тот или иной формальный элемент в новом системном контексте, по преимуществу, – и тут-то ярко вспыхивает гений Бахтина. С точки зрения НЕ культур антропологии и НЕ социальной истории – для герменевтики и культурологии более всего теоретически интересны как раз самые редкие и самые замечательные произведения. Причина этого, само собой, не в стародавнем представлении о том, что в истории любопытны и значимы лишь «великие люди», «герои» и т.п.

Однако дело в том, что данный тип личного самосознания, испытывающий максимальный мыслительный риск и напряжение, только на вершинах творчества достигает своей **логико-исторической предельности**, своей критической массы.

Тогда эпохальный тип сознания, придя в движение из глубины характерных для него «ментальных» матриц, расстается с их готовностью

и самоидентичностью. Выявляется «замысел» культуры, т.е. ее своеобразие и потенциал, а не только наличное и чаще всего встречающееся.

В истории культуры только так вырабатываются заделы для будущего. Продолжая, как принято выражаться, всецело «принадлежать своему времени», тем интенсивней мировосприятие индивида прорастает в Большое время. Оба времени заходят друг в друга.

Обычно считают, будто для данной культурной эпохи **показательны** лишь самые клишированные, типичные, массовидные формы. Остальное же – пусть блестящие, но **не показательные** исключения. Правда, непонятно, что делать с ними историку. Пробуют свести их все-таки на типичное. Или же подтвердить ими норму от противоположного.

Но что делать с особенным и неповторимым **как таковым**? В чем собственная историко-познавательная ценность уникального, можно ли вообще признать эту ценность при статистически-обобщающем подходе?

Понятно, что для культурантрополога потребны серийные или хотя бы однотипные источники.

Между тем феноменологическое богатство и показательность для эпохи того, что было в ней наиболее распространенным и обычным, **теоретически** едва ли не слишком бедно. Обычное характеризует культурную эпоху в ограниченном плане, хотя и более доступном для неподвижного описания. Дело в том, что обычного недостаточно, чтобы понять «замысел» данной культуры, т.е. заложенные в ней смысловые натяжения, предельные значения и, следовательно, способности к изменению.

Обычность и расхожесть суть истины Малого времени.

Чего, однако, заведомо нет в коллективной стереотипной ментальности, преднаходимой индивидом, детерминирующей его сознание и поведение, – так это возможности неисчерпаемых перетолкований. «Ментальность» на то и ментальность, что лишена дара метаморфоз.

Но это, как оговорено выше, лишь в модусе наличного, при совпадении с собой. В чрезвычайных же случаях великие души и умы, также, само собой, неотъемлемые от своего времени, выводят его из равновесия. Ставят свою культурную формацию в непредвиденный ракурс. Они не просто представляют (иллюстрируют, подтверждают) данную ментальность, но драматически-лично сдвигают, испытуют, проблематизируют ее.

Чем исключительней – тем рефлексивней, тем динамичней. Тем больше в этом заложено глубинного исторического смысла.

Конечно, необходимо изучать самое распространенное и характерное для эпохи, чтобы реконструировать ее. Но для той же цели,

ради создания макромоделли, не менее поучительно зайти с совершенно иной стороны. Эвристически плодотворно изучать также, напротив, то, что более или менее выламывается из времени и взламывает его.

Замечательные персонажи исторически интересны вовсе не в качестве исключений, оттеняющих нормативные вкусы и правила. Это плоский подход.

Хотя гении, конечно, живы и сами по себе, в огромном надэпопальном масштабе.

Но вот что наиболее методологически объемно и, так сказать, высокотехнологично при изучении казуса. Именно великолепная исключительность индивида, остраивающая его ментальность, «сама по себе интересная» смысловая фокусировка произведения позволяют исследователю увидеть культурную эпоху в условиях своего рода экспериментального сдвига. Парадоксальность, дремлющая в мыслительных матрицах – в том числе, сравнительно «холодной» культуры, – доводится гениями до критического (взрывного, как выражался Ю.М. Лотман) состояния. Чем сгущенней яркая необычность, тем заманчивей материал логико-исторической реконструкции.

Вот почему речь в моих работах, как правило, идет о самых что ни на есть известных именах и о знаменитейших текстах. Они давно изучены вдоль и поперек. Я пробовал взять их, однако, может быть, с несколько неожиданной стороны.

**Раскрытие** в работе наново далеких «Я» – будь то Августин, или Элоиза, или Петрарка, и пр. – конечно, звучит смущающе и может выглядеть как личная претензия. Но это, на самом деле, изложенное в простых выражениях значение термина «герменевтика». Это всего лишь суть того, чем занимается всякий интерпретатор культурного текста. Это рабочее условие и единственно возможный результат изучения того или иного автора в режиме научно-гуманитарного диалога с ним. Если такая реконструкция не убедительна, значит, исследование не состоялось вовсе.